

**В**чера я столкнулась с Марией Федоровной, бывшей моей хозяйкой, и встреча эта настолько разбередила мне душу, что я решила: надо все записать, все, что мне довелось пережить благодаря Марии Федоровне. Но для этого нужно начать с начала.

Люди простого звания часто дают своим чадам мудреные имена — пусть хоть имя у них будет благородное, вот я и стала Олимпиадой. Что за имя такое — никто и знал, и все называли меня просто Липой, что хотя бы имеет смысл. Красавицей я никогда не была, ни в девушках, ни потом. В школу я не ходила, старшие братья учились, однако недолго — пока не отдали на фабрику. Ютились мы все в одной комнате, и я слышала, как они по складам читали, так и выучилась в четыре года грамоте. А когда мне исполнилось десять, стала горничной у панов, и поляки передавали меня с рук на руки, потому как прослыла надежной: не украду, не соврву, в книжке для

прислуги — сплошь похвальные записи. В двадцать лет я попала в семью Андрея Алексеевича Желябужского. Со временем брак хозяев разладился, барин с маленькой дочкой и сыном съехал к своим родителям, ну а я осталась с хозяйкой. Из прислуги сделалась экономкой, а потом стала ей чуть ли не подружкой или, во всяком случае, компаньонкой.

Моя благодетельница Мария Федоровна Андреева была женщина знаменитая — звезда Московского Художественного театра. Многие не любили ее — кто из зависти, кто за то, что революционеркой была, а кто-то за благородное происхождение. Отец ее был театральным режиссером, и сама она с малых лет выступала на сцене, профессия была у нее, так сказать, в крови. Не любили ее и за то, что крута была, непреклонна, норовиста, нагоняла страху даже на режиссеров; и повсюду была своя, и в салонах аристократов, и среди обывателей. А поклонники у нее были знатные и богатые, такие как Савва Морозов, который ради нее миллионы тратил на Художественный театр, а позднее — на “Искру” да “Новую жизнь”, газету большевиков, ее формальным издателем была моя знаменитая барыня, чтобы цензоры меньше к ней придирались и реже ее запрещали. В то время она уже жила с Горьким, чему тоже завидовали многие. Не сказать чтоб Мария Федоровна была красивой, глаза маленькие, нос великоват, верхняя губа из-за выступающих зубов слегка нависает над нижней, и уже в молодости у нее был двойной подбородочек, но и на сцене, и в жизни была она удивительно притягательной и бесподобно владела голосом — ворковала, визжала, нашептывала, верещала, и все одинаково мелодично.

Долгое время она была моложава, в пятьдесят Дездемону играла, уже будучи комиссаром петроградских театров и зрелищ. Жаль, что ей больше не разрешали играть. И преподавать тоже не разрешали, сколько она ни просила и Луначарского, и Сталина. В эвакуации она была в Казахстане, где занималась делами Дома ученых, как до этого здесь, в Москве. Я столкнулась с нею на улице Горького, она десятью годами старше меня, так что ей теперь восемьдесят три — ровно столько, сколько было бы Горькому.

Когда Мария Федоровна сошлась с Горьким, он уже был семейным и жил в Ялте с женой Екатериной Павловной и детьми Максимом и Катей. Алексей их оставил, взяв с собой в новый дом лишь Захара Васильевича Селиверстова, своего слугу. Я не думаю, что хозяйка моя догадалась, что я тоже влюбилась в ее возлюбленного, а коли и догадалась, то ей до этого было дела мало. Им хотелось подстраховаться, чтобы горничная не бросила их, вот и выдали меня за Захара, которого я хоть и не любила, но верой и правдой терпела. Революционеры ведь точно так же женили своих слуг друг на друге, как помещики — своих крепостных, и даже гордились, что вот, мол, как хорошо с нами обошлись. Я родила Захару ребенка, а через несколько лет в один и тот же день они умерли. Уж не знаю, считал ли кто, сколько тысяч и миллионов унесла “испанка”. Будь я верующая, то подумала бы, что лишилась мужа и сына из-за греховных своих желаний, но я верующей не была, и даже их смерть меня таковой не сделала.

Еще до знакомства с Алексеем была я немало наслышана о его божьем даре. Наконец-то при-

шел человек из низов. Этот может превзойти Достоевского, Толстого, Чехова и Мережковского вместе взятых. В дверь русской литературы в его лице стучится народ. Да что там русской — всей мировой! Наконец-то в сонное русское царство ворвется XX век! Такая молва шла о нем среди аристократов и демократов, жен заводчиков, народников, критиков — все были в восторге, вот, явился, мол, человек, которого ждали!

Первый его рассказ, который я прочитала — “Макар Чудра”, — показался мне глупой, надуманной романтической сказкой, о чем я сказала Марии Федоровне, на что та ответила: ничего, напишет еще и получше. После этого много лет я не брала его книги в руки, хотя пьесы, конечно, видела, потому что ставил их Художественный театр, где играла моя благодетельница Мария Федоровна. Ольга Книппер, еще одна примадонна, окрутила Чехова, а хозяйка моя, чтобы не отстать, принялась за Горького. Чехов тоже был болен чахоткой, да и старый был — ему уже сорок исполнилось, в то время как Горькому только перевалило за тридцать.

Все было у Алексея фальшивое — и то, что писал он, и как говорил, и как одевался. Усы рыжие, плотные, волосы на прямой пробор, зачесаны на уши. Широкополая шляпа, серые панталоны, заправленные в сапоги, чесучовая, шитая на заказ черная блуза-косоворотка, подпоясанная кавказским ремешком. В этом придуманном для себя маскараде он и сам чувствовал себя неловко, будто мужик зажиточный, который идет сниматься к фотографу. Всякий раз, оказавшись рядом с женщиной, он немного сутулился, как бы стесняясь своего ро-

ста, но тоже не без лукавства — ссутуленная спина его рост лишь подчеркивала; он разыгрывал из себя очарованного самца, и, понятное дело, ни одна из самок не могла перед ним устоять. Он дымил папиросами, пил вино, пел, плясал, что нравилось и обывателям, и аристократам, и социал-демократам, радеющим об интересах так называемого народа, хотя никому неизвестно, что понимать под этим словом, кроме того, что народ — это те, кто беден. До чего обожают в высшем обществе носиться со всякого рода балбесами “из народа”, и если они достаточно осмотрительны и грамотно исполняют роль, не нарушают приличий, то могут десятилетиями не расставаться с предписанной им ролью, что бы ни происходило вокруг — мировая война, гражданская, революции. Особенно привлекали сынов народа люди еврейской национальности, и с Горьким им повезло больше, чем с другими русскими забулдыгами. Алексей их любил, говорил, что в молодости видел добро только от евреев, в то время как русские лупили его как сидорову козу; таких филосемитов, как он, я больше и не встречала.

Когда я впервые его увидела, он осмотрел меня недоверчиво, так прищурился, что я не сразу заметила, какие они синие. То, что богатых ему обвести легко, он понял давно, а в слугах подозревал врагов, ведь у слуг чутье, таких, как он, они видят насквозь. Слуги — подлый народ, тут он прав был. Я — слуга, и поэтому враг. Никогда не встречала я человека, так ненавидевшего народ, из которого он якобы вышел и который якобы представлял. И первое впечатление о нем было такое: лезет вперед человек, пробивается, локтями работает, вы-

ставляет себя напоказ; физиономия его мне казалась бесстыжей, он юлил юлой, рассыпался мелким бесом, нес чепуху, а кончилось это тем, что я тоже влюбилась в него.

Большей частью приударял он за зрелыми женщинами, способными поддержать в делах, завоевывая их тем, что на свое толстогубое лицо с пещерными надбровными дугами напускал мальчишеское очарование и вкрадчивое жеманство. При разговоре с женщинами он начинал басить, обольстительно рокотать, и тогда становилось ясно, что дама ему нужна. А этому кобелю нужны были все дамы. Я хотела предостеречь хозяйку, чтобы поосторожней была с этим ряженым мужиком, но потом передумала — благодетельница моя была женщина опытная, вся Москва лежала у ее ног, миллионщики сходили с ума, в те дни она как раз была возлюбленной Саввы Морозова, который позднее сдружился и с Алексеем. Я не раз провожала хозяйку к Морозову, чья жена, Зинаида, мучительно ревновала супруга. Савва был полной противоположностью Алексея. Я не видела в нем и намека на фальшь — простодушный, открытый был человек, что на уме, то и на языке; он даже и от царя не скрывал свое мнение и друзей своих фабрикантов постоянно корил за их подлости. Многие его не любили. Он ненавидел царский режим и презирал Европу. Вообще-то ему лучше было бы подружиться с Чеховым. Чего только не скрывалось в его татарской стриженной голове. Память у него была такая же поразительная, что и у Алексея, но соображал он гораздо быстрее и тараторил так, что иной раз невозможно было угнаться за его мыслью. Зара-

батывать деньги ему было скучно, уж больно легко это получалось, и так же легко он их тратил на благие дела, если видел в том смысл. Вот семья и решила убрать его, не дожидаясь, пока он растратит все их наследство, к которому сами они не прибавили ни гроша. Ну а свалили на Красина, который якобы был последним, кто навестил его в Каннах. Официально же Савва покончил жизнь самоубийством.

Да, хозяйка моя была женщина опытная, но все же попалась в Алексеевы сети. Или, скорее, наоборот — это у нашего босяка не хватило ума.

Я была рядом с ними в тот первый вечер, когда Алексей, отец двоих детей, рассказывал о том, как несколько лет назад в Нижнем Новгороде его расспрашивал Короленко. Есть ли у него семья, спросил он у Алексея. Тот ответил, что есть. Ну и зря, якобы сказал Короленко, вам нужна свобода!

От такого бесстыдства я вспыхнула, а Мария Федоровна и ухом не повела, она среди театральных паяцев и не таких наглецов видала.

Алексей обожал читать вслух, вот когда было видно, что в нем пропадает актер. Он часто читал что-нибудь из Чехова, а также из Леонида Андреева. С Андреевым они были тогда еще в замечательных отношениях. Читая, Алексей часто плакал. Он вообще часто умилялся и плакал на публике, к чему я не сразу привыкла. А когда он читал “В овраге” Чехова, то рыдала вся публика.

Он любил рассказывать о своих похождениях, причем каких-либо неожиданных поворотов в этих историях не было, зато он умел обстоятельно рассуждать от имени какого-нибудь персонажа, передавать в лицах диалоги, как будто разыгрывал импро-

визированную пьесу, в которой не было ни сюжета, ни кульминации — одни персонажи. Возможно, актер из него получился бы лучший, чем вышел писатель, но он ведь и так лицедействовал всю свою жизнь.

Как-то в Ялте мы были у Чехова. Народу собралось в кабинете писателя много — Бунин, Скиталец, Чириков, морской офицер по фамилии Лазаревский, наводивший на всех смертельную скуку. Алексей принялся рассуждать о том, что Толстой с Достоевским, эти великие гении, принесли и немалый вред русскому народу, ибо учат его пассивности, тормозят-де его развитие. Его слушали молча. Я подумала, глупости говорит Алексей, этих гениев русский народ не читает, он о них и не слышивал. Его провокация отклика не имела. Алексей обиделся и умчался, и тогда все принялись браниться и возмущаться: самоучка, какое нахальство, да как он посмел! А Чехов с усмешкой спросил: “Что же вы это ему всё в глаза не сказали?”

Первое чтение пьесы “На дне” проходило во временном помещении — в театре был ремонт. Народу собралось множество, от Саввы Морозова до гримеров, так что была и я. Когда Алексей дошел до смерти Анны, то не выдержал, расплакался и, поглядев на всех, сказал: “Хорошо, ей-богу, хорошо написал.. Черт знает, а?.. Правда хорошо!” Шалапин хлопнул его по плечу: “Хорошо, старик, хорошо!”

Станиславский, борясь со слезами, попросил его продолжать. Что тут скажешь — артисты! А самый главный артист из них — разумеется, Алексей!

Все были в восторге от пьесы, ну а мне было скучно, в пьесе не было никакого действия, а нище-

та, в которой живут персонажи, меня не растрогала — я не такое видала. Говорят все герои пространно, с горячностью, все очень сентиментально и романтично. Наверняка поэтому пьеса и имела такой бешеный успех в мире. Но до пьесы мне дела не было, мне было приятно смотреть на Алексея и слушать его рокочущий голос.

На репетициях Алексей не присутствовал, он был в Ялте, где пытался уладить дела со своей женой, тяжело переживавшей его измены. Станиславский решил, что актеры должны побывать на Хитровке, думал, это поможет игре. Окрестности рынка были, как говорили лицемеры, излюбленным местом беглых каторжников и бродяг, хотя все знали, что ни в одном другом месте Москвы их просто не потерпели бы. Это был мир проституток и сутенеров, постоянных облав, в домах не было электричества, а вода — только в кране на улице. Тут был лазарет, своя церковь, ночлежки, столовая для бездомных. Мария Федоровна попросила меня сопровождать ее — мало ли, попадетя у перекупщиков что-то ценное, а служанке они отдадут дешевле, чем барыне. И действительно, довольно дешево я прикупила несколько китайских ваз. Алексей, который уже тогда страстно коллекционировал безделушки, заявил, что эти китайские вазы — псевдокитайские, но это неважно, потому что их тоже производят китайцы.

Станиславский привел всю компанию в палаты Бутурлина, бывшие в свое время роскошным зданием, но теперь совершенно разрушенные, где обретались бездомные, и некоторые из этих парий, предварительно им отобранные, рассказывали актерам

о своей жизни. Все, как водится, ввали, потому что бедные и вообще-то лгут себе и другим больше, чем люди зажиточные, а тут им еще и платили за это. Станиславский с гордостью слушал леденящие душу истории — вот они, судьбы страдальцев, вот он, истинный ад, вот до чего должны вы подняться, дамы и господа актеры. Вонь, крысы, сырость — несколько часов кряду дамы и господа стояли в убогом нетопленном помещении, ноги у всех затекли, но садиться им не рекомендовалось, а то еще нахватаются вшей да клопов. Голодранцы вещали неторопливо, будто и сами вышли из постановки Станиславского. Актеры изображали на лицах заинтересованное внимание, Немирович-Данченко, второй режиссер, тоже разыгрывал воодушевление, а художник Симов спал с открытыми глазами. Декорации он давно придумал, но эскизы придерживал, не показывал, пускай думает Станиславский, что его вдохновила Хитровка. Качалов картинно лил слезы, остальные беззвучно смеялись, прячась за спины друг друга от строгого взора классного наставника Станиславского. Эту экскурсию поминали потом месяцами, а о чем-то тоскливом говорили: “Прямо как на Хитровке”.

Накануне премьеры Мария Федоровна как ни в чем не бывало описала Алексею это паломничество на Хитровку. Тот слушал ее с изумлением. Но ничего не сказал, а только взглянул на меня. Посмотрел не щурясь, без смеха, понимающим взглядом. Он знал, что я думаю об этом то же, что и он, потому что мы оба выросли в бедности. Это был первый случай, когда мы с ним обменялись взглядами.

Мария Федоровна очень правдоподобно играла Наташу — простую и чистую, даже слишком чи-

стую, на мой взгляд, девушку, очень естественно куталась в шаль и говорила без нарочитости, чего от нее не ждали, потому что за ней закрепилось ампула героини. Во время спектакля Алексей нервно расхаживал за кулисами, курил папиросу за папиросой, а когда его вытолкнули на аплодисменты, он не успел загасить папиросу и, неожиданно оказавшись перед занавесом, спрятал ее в кулак. Так и держал дымящуюся папиросу, пока бушевали овации в его честь, а потом, за кулисами, продолжил курить. Актеры смотрели на него с изумлением и восторгом, зная, какое это искусство — держать горящую папиросу так, чтобы она не погасла и не обожгла руку, — этому надо учиться. Все аплодисменты достались автору, а не актерам, не режиссеру. Успех был феноменальный, никогда с тех пор я не видела ничего подобного.

Мы были вместе всю революцию.

Жили мы — Мария Федоровна, Алексей и я с моим мужем — на углу Воздвиженки и Моховой в меблированных комнатах “Петергоф”. Дети Марии Федоровны и Алексея, в общей сложности четверо, с ними никогда не жили. К кабинету Алексея примыкала так называемая “птицевая” комната, где в клетках содержалось всегда пять-шесть птиц; когда какая-нибудь из них умирала, я добывала новую; там же, в мешках, держали птичий корм. В этой комнате хранились и бомбы, а в ящиках письменного стола Алексея — револьверы и уйма патронов к ним.

Начиная с 1904 года большевики по приказу Ленина закупали за рубежом оружие. Литвинов, будущий нарком иностранных дел, занимался его переправкой в Россию, где фабричным и кустарным

способом вовсю изготавливали взрывчатку, грабили почты и банки, ведь на закупку оружия нужны были деньги. Полтора десятилетия спустя Алексей встречался с Камо, самым отчаянным из этих грабителей, и даже написал о нем очерк; бедолага этот в то время с большим трудом как раз осваивал грамоту. Эсеры и меньшевики тогда подняли большой шум, считая восстание преждевременным, опасались, что оно приведет к неисчислимым жертвам ни в чем не повинных людей и к ответному удару царского режима — и, конечно, они оказались правы. Но сила Ленина уже тогда заключалась в его умении не считаться ни с чем и ни с кем, и меньше всего — с реальностью. Это он сделал большевиков фанатиками. Революция любой ценой, а кто выступает против, тех бить беспощадно. Первым делом он не царизм хотел свергнуть, полагая так, что он и сам рухнет, а хотел задушить всех, кто с этим режимом боролся, чтобы убрать соперников. Разумеется, для победы его грандиозных замыслов нужна была еще мировая война, которая к семнадцатому году физически и духовно подорвала страну. А то, что еще от нее оставалось, методично добивали после Октября. В бытность нашу революционерами мы этого не предвидели. Я тоже была захвачена и даже ослеплена всем происходящим и была счастлива оттого, что хозяева доверяют мне.

Бомбами и оружием ведал Красин — на удивление элегантный, интеллигентно изъяснявшийся молодой человек, которого все принимали за аристократа, хотя на самом деле происходил он из таких же низов, что и Алексей, — отец его был околоточным надзирателем, прославившимся своей

свирепостью. Стрелковое оружие где-то добывал Буренин, близкий друг Марии Федоровны и аккомпаниатор Шаляпина, — он позднее сопровождал их в Америке в качестве переводчика и, насколько я знаю, до сих пор жив. Самую крупную партию оружия перевозили на пароходе “Джон Графтон”, но у финского побережья он сел на мель, часть груза с него растащили местные рыбаки, у которых пришлось потом выкупать однажды уже оплаченное оружие. Лишних денег, конечно, у большевиков не было, но уже и тогда они их швыряли направо-налево. Однако же тем относительно малым количеством оружия они умудрились перебить невероятно много народу. Перевозкой оружия занимались и многие женщины. Например, Феодосия Ильинична Драбкина, которая на пять лет моложе меня и до сих пор жива, привозила нам оружие из Санкт-Петербурга. Участвовали в этом деле и Софья Марковна Познер, Игнатьева, Стасова, всех не упомнишь. Любят женщины поиграть в революцию, особенно если лицом не вышли да не знают, куда девать энергию. Я тоже красавицей не была, курноса, неуклюжая, с короткой шеей, так что была и во мне доля революционного заряда.

В один из дней на Воздвиженку явились тринадцать грузинских студентов и сказали, что пришли охранять актрису Марию Андрееву и писателя Горького. На наши протесты они не реагировали и убираться не собирались. Руководителем этой дружины был актер Васо Арабидзе, который три года спустя совершил в Грузии покушение на генерала Азанчевского-Азанчеева и так и не был пойман.